

27.03.1984

В ожидании сегодняшней встречи я думал о таких вещах, которые могли бы вас соблазнить. Это естественно, что я хочу вас соблазнить, потому что всякий человек, который что-то любит, хочет поделиться предметом своей любви — если он нормальный, конечно, — чтобы другие это тоже полюбили. И мне показалось, что к тексту Пруста мы должны отнестись так же, как он сам относился к впечатлениям жизни, в следующем смысле...

В одном из мест романа есть такая сцена: Марсель едет на лошади в невысоких горах, по тропинке, по которой ему посоветовала проехать герцогиня Германт, сказав, что он увидит экзотический пейзаж; и действительно, он едет на лошади среди скал, и между скал то показывается, то исчезает море, и в этом то показывающемся, то исчезающем море он узнает пейзажи Эльстира (выдуманный им художник; причем Пруст выдумал не только художника, но и его произведения, которые наряду с другими произведениями описываются в романе). В пейзажах Эльстира (очевидно, один из первых вообразенных и немножко улучшенных Прустом импрессионистов) всегда смешивались море, средневековые города, земля, так что трудно было отличить, где земля, где вода, а где каменные дома. Марсель как бы видит эти пейзажи сквозь проемы скал, и вдруг лошадь шарахнулась от неожиданного звука, он еле удержал и ее, и самого себя от падения, поднял голову на источник звука и в первый раз в жизни увидел над своей головой аэроплан. Аэроплан парил примерно в ста метрах над его головой — попарил, помахал крыльями и исчез, а душа Марселя переполнилась непонятным и в то же время ясным для него ощущением другой жизни: не той жизни, которой он живет, не той жизни, которая привычна, и не той жизни, которую можно угадать (потому что мы своим воображением угадываем то, что называем другой жизнью, но в действительности это не другая жизнь, а продолжение нашего воображения)¹.

Наше воображение, как часто говорит Пруст, «не может представить себе незнакомую ситуацию, потому что воображение складывается из знакомых элементов даже незнакомое»². Мы в принципе

¹ II (S.G.) — p. 1028–1029 (3:СГ:508–509).

² III (Fug.) — p. 424 (5:Бер:11–12) — ...«Мадмуазель

Альбертина уехала». Чтобы представить себе незнакомую ситуацию [*une situation inconnue*], воображение

не можем естественным образом вырваться из сплетения известных элементов, — что-то должно нам помочь, или мы сами себе должны помочь. Так что это воображаемое *другое* не есть «другое». А в том ощущении, которое он ассоциировал со звуком планирующего самолета, он почувствовал совершенно абстрактную, неясную, но переполняющую его радость ощущения другой жизни, другого «Я», то есть другого самого себя и так далее³. Я это рассказываю к тому, чтобы вы заразились этим ощущением — через Пруста или, может быть, через мой рассказ, конечно, неловкий и бездарный по сравнению с текстом Пруста, — ощущением того, что вы могли бы быть другими. Но даже если не станете другими, то само это ощущение, может быть, повлияет на то, что с вами происходит в этой жизни.

В прошлый раз я говорил о том, что мы называем жизнью очень разные вещи, хотя слово «жизнь» имеет довольно точный смысл, который нам доступен в некоторые особые, привилегированные моменты. Я условно их назвал моментами невыразимого — когда мы твердо ощущаем, что вот это так, но этого сказать нельзя, и именно в том, чего сказать нельзя, мы чувствуем себя живыми, то есть мы чувствуем себя живыми в той истине, которая, как я уже цитировал из Данте, похожа на ложь и которую нужно хранить сомкнутыми устами, потому что разевать рот бесполезно: все равно ничего не скажешь, а когда скажешь, то будет похоже на ложь. Это ощущение жизни самоценно (оно ни для чего), оно самое дорогое для нас, и во всем остальном, что бы мы ни делали, мы ищем это ощущение; если оно присутствует в том, что мы делаем или испытываем, то тогда это имеет смысл. Короче говоря, наше самое большое желание среди всех желаний — быть живыми. Мы хотим жить. Конечно, слово «жить» понимается не в физическом смысле,

[*l'imagination*] пользуется знакомыми элементами и именно потому не представляет ее себе. Но на чувственные ощущения, даже в физическом смысле этого понятия, ложится подлинный и долго не изглаживающийся, подобно впечатлению от молниеносного зигзага, отпечаток нового впечатления.

III (*Fug.*) — р. 431 (5:Бег: 21) — Я надеялся только на то, что Альбертина уехала в Турень к тетке, — там она, под присмотром, ничего особенного натворить не может, а потом я ее увезу. Больше всего я боялся, что она из Парижа поедет в Амстердам, в Монжувен, куда угодно, — я думал лишь о таких местах, куда она, вернее всего, могла бы уехать; когда же консьержка сказала, что Альбертина уехала в Турень, в место, о котором

я мог только мечтать, оно показалось мне самым страшным, потому что это было реальное место... ...я представил себе Альбертину, начавшую жить той жизнью, которая ее пленяла... ...когда ей представится возможность осуществить то неизвестное мне [*inconnu*], которое прежде так часто меня волновало... Это неизвестное служило фоном моей любви [*C'était cet inconnu qui faisait le fond de mon amour*].

³ II (S.G.) — 1029 (3:СГ:509) — Мне показалось, что авиатор сбился с пути; я чувствовал, как перед ним — передо мной, если бы я не был скован привычкой, — открываются все дороги пространства, все дороги жизни [*toutes les routes d'espace, de la vie*].

хотя чтобы быть живым в том смысле, о котором я говорю, нужно также жить и в простом физическом смысле. Но ясно, что многие вещи, которые похожи на жизнь или нам кажутся жизнью, — мы в них мертвы (в них нет того ощущения, о котором я говорил на прошлом занятии и о котором напоминаю сейчас).

Итак, у нас есть жизнь в двух смыслах: во-первых, жизнь, про которую я сказал, что это невыразимо, и, во-вторых, есть некая жизнь, которая похожа на первую, но бывает лишена ощущения смысла жизни. Пруст, я бы сказал, одержим жизнью: во всем, что есть в романе, во всем, что он описывает, всегда есть поиск этого ощущения жизни. Чтобы он ни описывал, он должен найти себя живым, поэтому мы часто встретим такую фразу: все, что я знаю, не есть я; все, что я не извлек из себя, — это не мое, то есть не мое понимание, не жизнь⁴.

У Пруста всегда идут какие-то равенства, уравнения (в математическом смысле уравнения). Скажем, слово «жизнь»: сам факт жизни странным образом равен идее, то есть жизнь равна Идее (с большой буквы); жизнь равна сущности, жизнь равна закону⁵, — очень странные уравнения. Дам одно маленькое пояснение для уравнений, которые я просто назвал. Я уже различил две жизни... Есть то, в чем мы ощущаем себя живыми, в чем мы невыразимо отличны от других, от всего, — это есть ощущение жизни, то есть жизнь — это всегда другое. Мне приходилось приводить пример простого интуитивного определения жизни (у меня самого эти повторения вызывают отвращение, но есть интуитивно точные примеры, их заменить нечем; сколько ни думай, не придумаешь ничего), то есть отличие живого от неживого, мертвого: живое отличается от мертвого тем, что оно всегда может нечто иное, а мертвое уже не может ничего другого по сравнению с тем, что оно есть. Поэтому бедный Пушкин, кстати, говорил в свое время, что в России любят только мертвых⁶. Вы заметили, что если любят, то только мертвых поэтов — по одной простой причине: они уже не могут ничего отчуждать, ничего, как говорят по-русски, «откаблучить». Очень просто: живое проявляется тем, что всегда может что-то иное.

Значит, я снова вернулся к тому, на что хотел нас настроить; самое главное ощущение в Прусте, которое нужно уловить и пе-

⁴ III (T.R.) — p. 876–877 (6:OB:194–195).

⁵ Ibid. — p. 872, 876, 899, 906, 908, 1044 (6:OB:190–191, 194–195, 219, 226, 228–229, 372).

⁶ Предчувствую небесный гром и горе.
Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать —

Но отложил пустое печенье:

Живая власть для черни ненавистна,

Они любить умеют только мертвых.

Монолог царя Бориса из трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов». Цит. по: *Пушкин А.С. Соч.: В 3 т. Т. 2.* М.: Художественная литература, 1985. С. 369.

ренести на себя и на текст, — услышать в звуке, увидеть в цветке, в поступке человека или в лице человека свою возможность другой жизни, то есть свою возможность того, что вы живы. Поэтому Пруст описывает свои типовые впечатления (а они есть у каждого человека), скажем, пирожное «мадлен», вид колоколен Мартенвиля, плиты мостовой в Венеции, в том числе звук полета самолета, о котором я рассказывал и который везде будет повторяться, когда Пруст будет перечислять очень важные впечатления (другие впечатления, в отличие от символического полета самолета, который для чувствительного поэта закодировал в себе образ иной жизни, проанализированы на десятках страниц).

Я говорил, что есть *жизнь* и есть жизнь, похожая на жизнь, и чтобы расшифровать те уравнения, которые я перечислил, скажу, что быть живым в первом смысле слова, то есть действительно живым, очень трудно. Это предполагает, во-первых, то, о чем я говорил в самом начале, что жизнь есть усилие во времени (это определение принадлежит Прусту — очень точное определение). И, во-вторых, я добавлю, чтобы пояснить уже уравнения Пруста (жизнь равна Идее, жизнь равна сущности, закону): живое питается законами, или сущностями, то есть пропитанием живого являются законы и сущности. Чтобы были какие-то ассоциации, чтобы вы сразу не испугались этой фразы (я ничего особенного не сказал, хотя это довольно глубокая и содержательная вещь, и мы убедимся в этом на материале Пруста), хочу напомнить физика Эрвина Шредингера, одного из основателей квантовой механики.

В свое время, когда генетика (я имею в виду биологическую теорию) только еще становилась на ноги, Шредингер среди прочих книг написал также и книжку об этой науке; в 40-е годы она была популяризацией основных, по тем временам новых, достижений в генетике. Книжка называлась «Что такое жизнь?»⁷. Он задал очень простой вопрос и пояснил с другой стороны то, о чем я говорю, но это только аналогия, метафора, а не прямой ответ на наш вопрос. Рассуждая о жизни в связи с проблемой энтропии и упорядоченности (есть неупорядоченные состояния, характеризующиеся энтропией или максимум-энтропией, и есть упорядоченные состояния), Шредингер задался простым вопросом: вот, говорят, что жизнь есть обмен веществ, то есть определяют жизнь как обмен веществ, но какой смысл, скажем, один атом кислорода обменивать на другой атом кислорода, когда они вполне тождественны и одинаковы? Не в этом состоит процесс обмена, если этот процесс является сущностью жизни. Очевидно, говорит он, жизнь все-таки действительно

⁷ Шредингер Э. *Что такое жизнь с точки зрения физики?* М.: Государственное издательство иностранной литературы, 1947.

состоит в обмене и сущностью обмена (или сущностью жизни) является процесс, заключающийся в том, что жизнь питается порядком, то есть жизнь есть процесс извлечения порядка (живое живет извлечением порядка), и если она его не извлекает, то она не живет. Вместо слова «порядок» поставим слово «сущность», или «закон».

Следовательно (я возвращаюсь к нашей теме), по глубокому убеждению Пруста — и поэтому нужна вся та «аналитическая» (в кавычках) работа или работа художника, которую он считал своим призванием, — воспроизведение акта жизни в следующий момент времени (а воспроизводство акта жизни в следующий момент времени не само собой разумеется) предполагает труд или работу по извлечению порядка, в том числе извлечение смыслов, законов, сущностей, а переводя на наш язык, который мы уже ввели, это извлечение того, что со мной происходит, что я на самом деле чувствую, потому что мы ведь умираем по отношению к самим себе... Например, я не узнаю друга; переводя на мой язык, который я сейчас предлагаю, это означает, что — французы построили бы такой оборот — «дух умер к самому себе»⁸ (в русском и грузинском языке трудно этот оборот построить), то есть умер для самого себя, умер по отношению к самому себе (а мы вместе с Прустом сейчас предполагаем, что дух, или ум, тоже есть жизнь, нечто живое) или, переводя на другой язык, дух оказался в состоянии рассеяния и распада, или в шредингеровской энтропии, то есть не-жизни. Значит, мы имеем два полюса: с одной стороны, живое, то есть упорядоченное в том смысле слова, что оно живое ценой извлечения порядков и законов, а с другой — рассеяние и распад — неживое.

Продолжим теперь нашу тему, которую в прошлый раз подвесили в воздухе. Мы пришли к тому, что у нас есть странный феномен сознания: то, что несомненно есть и чему нет никакого внешнего эквивалента — если под внешним эквивалентом понимать слово, — чему нет названия. Вот мы видим одно и то же, то есть нечто, названное одним и тем же именем, но то, чем отличается то, что я вижу и что не уместается в слове, и есть сознание. (Мы его так отрицательно определили.) Короче говоря, сознание — то, что не имеет эквивалента, ясно, но невыразимо. Причем не подсовывайте, я предупреждал, никаких ассоциаций: интуиция, иррациональное и прочее; пока ничего этого нет и мы ничего этого не знаем. Мы знаем только одно — ясно, но нет эквивалента.

Я это свяжу с жизнью и прочитаю цитату (буду цитировать Пруста и опять, к сожалению, должен переводить с листа). Предупреждаю, что должно быть следующее правило чтения: останавливайте

⁸ III (T.R.) — p. 905 — *...puisque rien ne peut durer qu'en devenant général et si l'esprit meurt à soi-même...* (6:OB:225) — ...все, что длится какое-то время, неизбежно обобщается, а дух обладает способностью к саморазрушению...

в себе, блокируйте естественные, произвольные побуждения реагировать на красоту стиля, не моего, конечно (в моем пересказе эта красота будет исчезать, но что-то будет просвечивать), а Пруста, потому что красота выражения позволяет нам не замечать мысли. Эта цитата — в самом конце романа, в тех частях, которые не представлены в русском переводе. Пруст говорит об ослепительном свете, который его посетил, а именно о том, что «произведение искусства — единственный способ восстановить утраченное время»⁹.

Для начала сделаю первое предупреждение, относящееся к нашему отношению к словам. Вот как будто понятная фраза, да? Потерянное время — значит, то, что забыл, не так ли? Или потерянное время — это, скажем, вместо того чтобы вчера работать, вы ничего не делали, или вместо того чтобы вести умную беседу, ходили на свидание. Кстати, с точки зрения Пруста, свидание не было бы потерянным временем, — потерянным временем была бы умная беседа по одной простой причине: там, где мы не рискуем, где мы не поставлены на карту в своих переживаниях, в своих восприятиях и в своей судьбе, — там потерянное время (в том числе таковыми являются интеллектуальные беседы). Пруст в свое время говорил (он был большой противник снобизма, который состоит во встречах или в окружении себя умными и содержательными людьми): беседовать с умными людьми — это то же самое, что прийти в гости и, вместо ожидаемого приключения, оказаться в светском салоне, где тебе сунули в руки альбом с семейными фотографиями и ты должен с видимым интересом на лице их разглядывать, или, скажем, что с вами, наверное, часто случалось, разглядывать диапозитивы в темной комнате¹⁰.

Потерянное время — это время всех неживых моментов, то есть потерянное время есть то, когда ты, как я говорил, мог жить в первом смысле слова, но не жил; был тебе знак, а ты его упустил, потому что не остановился и не работал. А знак — мы знаем какой, если помните, — я прошу все время держать его в голове, потому что он, как факел, должен освещать нам нашу работу. То, что мы делаем, — это работа — и моя (если бы я заранее знал все, что говорю, мне было бы скучно), и ваша (а вам тоже нужно работать, чтобы узнавать все в самих себе). Знак простой — по апостолу Иоанну: пока свет вам (а светом является любое ударившее в душу впечатление), нужно не откладывать на завтра или на послезавтра и не перекладывать на других, потому что никто, кроме вас, в этом

⁹ III (T.R.) — 899 (6:OB:218) — ...единственный способ обрести Утраченное время — это произведение искусства.

¹⁰ I (J.F.) — p. 892 (1:ДЦ:1042) — Светские удовольствия, серьезные разговоры и даже дружеская беседа,

если бы они заняли место моих прогулок с этими девушками, произвели бы на меня такое же впечатление, как если бы в час завтрака нас позвали не садиться за стол, а рассматривать альбом.

не разберется. Значит, наш знак: мы должны делать то, что можем только мы. Точка нашего или прустовского труда в том, что могу только я или вы. («Я» в данном случае — наше общее «Я».)

Пруст пишет так: «Я понял — и это уже второй свет, вслед за первым, позволившим мне осознать, что произведение искусства — это единственный способ восстановить утраченное время...» Очевидно, что «произведение искусства» понимается не в традиционном смысле, а как работа, которую могу сделать только я сам, чтобы раскрутить, что же со мной случилось, что значило впечатление, что значил знак, — Бог подавал мне знак, и было светло на одну секунду, потом будут хаос и темнота, когда темно, работать уже нельзя. Кстати, эти впечатления не обязательно должны быть катастрофическими, то есть содержать в себе крупную религиозную истину, они могут быть, скажем, видом озера. Как я говорил, Пруст неточно цитирует Евангелие (опять прошу прощения, что я отклоняюсь и хожу кругами), и сама эта цитата фигурирует не в романе, а в письме; в романе она — в неожиданно преобразованном виде. Очевидно, Пруст из-за своей нелюбви к форсированным мыслям, мыслям с нажимом, предпочел более скромную форму выражения, но там есть буквальные совпадения по тексту. Пруст говорит: «...подобно тому, как художник подымается в горах и в проеме гор перед ним открывается озеро, которое поразило его каким-то впечатлением, — он быстро вынимает свой мольберт, кисть, но уже темно и работать нельзя»¹¹. Пока не темно, надо работать.

Так вот, все эти материалы, вошедшие в книгу, — «истины, открытые одни в страданиях, другие — в весьма посредственных удовольствиях...»¹² Обратим внимание, это все сказано специально: истины были открыты в посредственных удовольствиях, а не во время чтения книг, бесед с умными людьми, то есть были открыты через самые банальные вещи, но только при условии, что — углублялся и не терял время, и был риск (страдание — тоже очень важный пункт, мы потом еще будем с ним иметь дело). Самая ничтожная женщина лучше самого умного и гениального собеседника, потому что с гениальным собеседником я имею дело как салонный говорун, а с ничтожной женщиной я рискую, там вовлечены желания, и только через них, только через желание и боль, я могу узнать и мир, и других, и себя¹³. Более того, Пруст добавлял в таких слу-

¹¹ III (*T.R.*) — p. 1035 (6:OB:363) — ...как художник, что карабкается вверх по тропинке, нависающей над озером, скрытым из виду стеной скал и деревьев. Вот он видит его в проломе скалы, оно все перед ним, художник берет кисти. Но тут подступает темнота, рисовать уже невозможно...

¹² *Ibid.* — p. 899 (6:OB:218) — Их постижение наполняло меня радостью и в то же время напоминало о том, что лишь одну из них я открыл в страданиях, другие же — в убогих удовольствиях.

¹³ I (*J.F.*) — p. 833 (1:ДЦ:980) — когда мы влюблены в женщину, мы только проецируем в нее наше собствен-

чаях, что люди, имеющие действительно глубокую и интенсивную внутреннюю жизнь, в минуты, когда выходят из нее, имеют потребность в флиртных разговорах¹⁴. (Мы эту истину, наверно, знаем по себе: если с нами действительно произошло что-то внутренне серьезное и мы поработали, то, выйдя из этого, мы нуждаемся в флиртных разговорах, а вовсе не в умных беседах.)

Я понял, пишет Пруст, что истины, открытые в весьма посредственных или даже низменных удовольствиях, все эти материалы художественного произведения, — все это «было моей прошедшей жизнью»¹⁵, то есть материал произведения составлялся из материала жизни. Тут наше внимание будет, конечно, проскакивать (о чем я и предупреждал). Действительно, о чем пишет писатель? О том, что случилось, что он наблюдал (сюжеты, которые он видел)? Или то, что он видел, он превратил в сюжеты? Если мы подкрепим то, что я говорю, чтением текста Пруста, то тогда нам откроется довольно существенная истина, — не это имеется в виду. В прямом, телесном смысле слова то, что называется произведением, состоит из материала нашей жизни, питается из этого «мяса». И наоборот, произведение является частью «мяса» нашей жизни.

Это была та прошедшая жизнь Марселя, в которой, проходя мимо куста боярышника или поедая пирожное «мадлен» (это знаменитая сцена), он не просто прошел мимо куста боярышника или съел пирожное «мадлен», а остановился. Этот эпизод — материал произведения искусства, казалось бы, незначительный, эпизод, который по каким-то другим критериям не вошел бы ни в какое другое произведение искусства. Назовите мне такого писателя, у которого, как у Пруста, поедание пирожного заняло бы несколько сотен страниц в романе, — нет такого.

«Я понял, что эти материалы пришли ко мне во флиртных удовольствиях, в лени...» Кстати, [материалы к нему пришли] в простой лени (я буду перебивать перевод пояснениями): Прусту было лень писать то, что видят все, и то, что видят его глаза сами по себе. Скучно. Мы тоже можем убедиться в этом на своем опыте. Действительно, откуда возьмется сила, чтобы написать халтурную книгу на сто страниц? Я обычно удивляюсь не тому, что она написана халтурно, а тому, что она физически написана, что человеку

ное душевное состояние; что, следовательно, самое важное — не ценность женщины, а глубина этого состояния, и что чувства, внушаемые нам какой-нибудь заурядной девушкой, способны разбудить в сознании более сокровенные, более личные, более далекие, более содержательные части нашего существа, чем те, которые может оживить наслаждение от беседы с

выдающимся человеком или даже восторженное созерцание его произведений.

¹⁴ S.B. — р. 215–216; 307.

¹⁵ III (T.R.) — р. 899 (6:OB:219) — И я понял, что материал, необходимый для литературного произведения, — это мое прошлое...

хватило трудового усилия (а его всегда требуется в динамической искорке), чтобы сидеть за столом, работать. Как можно усидеть, чтобы это написать? Я всегда пытаюсь представить лицо человека, который это сделал, и не могу понять, как ему было не лень. В некоторых местах романа Пруст говорит, что лень спасала его от написания плохих вещей¹⁶.

Значит, «...приходило ко мне в лени, в нежности, в боли, укладывалось во мне и накоплялось без того, чтобы я понимал назначение этих материалов, даже то, что они будут жить, так же, как не знает об этом зерно, которое откладывает пропитание, из которого питается растение. Как зерно я мог умереть, когда разовьется растение, и оказалось бы тогда, что я жил для этого растения, даже не зная об этом, даже без того, чтобы моя жизнь когда-либо вошла в контакт с теми книгами, которые я хотел бы написать и для которых, когда я садился за стол, я не находил сюжета»¹⁷. (Опять — к осторожности в связи с тем, что называется материалом произведения; не событие жизни — материал произведения, потому что если бы были события, то, сев за стол, Пруст нашел бы сюжет, а тут он даже не подозревает о том, что поедание пирожного — это и есть материал произведения искусства; он пока имеет другое представление о литературном труде; садится за стол, а в голове пусто, нет сюжета, или есть такие сюжеты, которые вызывают только лень, и поэтому не хочется писать.)

«И, таким образом, вся моя жизнь по сегодняшний день могла быть резюмирована под титром, названием *vocation*, призвание (или предназначение — *vocation*, — но «призвание» больше подходит, так как схоже с «кликнутостью»), и не могла быть, — не могла в том смысле, что вся литература не играла никакой роли в моей жизни...»¹⁸ Возвращаюсь снова к моему предупреждению: когда Пруст пишет, что вся литература не играла никакой роли в его жизни, и в то же время утверждает, что произведение искусства есть единственная реальность, единственная настоящая жизнь

¹⁶ «...je suis trop paresseux pour écrire des choses qui m'ennuient». — *Lettre à Robert Dreyfus II Centenaire de Marcel Proust*. P. 64.

¹⁷ III (T.R.) — p. 899 (6:OB:219) — И я понял, что материал, необходимый для литературного произведения, — это мое прошлое, я понял, что собирал его в легкомысленных удовольствиях, в праздности, в нежности, боли, собирал, даже не догадываясь о его назначении и вообще о том, что он сумел выжить, словно зерно, в котором накапливаются питательные вещества, необходимые растению. И, как зерно, я готов был умереть, когда во мне

зародилось и стало развиваться растение, оказалось, я и жил-то ради него, только не подозревая об этом, не зная, что жизнь моя должна когда-нибудь соприкоснуться с этими книгами, которые мне хотелось бы написать и для которых, садясь прежде за письменный стол, я не находил сюжета.

¹⁸ *Ibid.* — Так, вся моя жизнь до сегодняшнего дня могла бы и в то же время не могла проходить под знаком Призвания [*Une vocation*]. Не могла бы в том смысле, что литература не сыграла в моей жизни никакой роли.

и прочее, то это имеет особый смысл, не тот обычный, который мы склонны вкладывать.

Значит, в обычном смысле слова литература никакой роли в его жизни не играла. С другой стороны, его жизнь могла быть режюмирована под этим названием, «потому что воспоминания о ее печалях, о ее радостях составляли в ней запас, подобный тому белку (*теперь вы начнете понимать, почему я привел эту цитату*), который находится в зачаточной клетке растения и в котором эта клетка черпает свою пищу, чтобы превратиться в зерно, ничего в это время не зная о том, что из этого зерна разовьется растение, хотя именно это зерно является местом весьма тайных, но очень активных химических и дыхательных феноменов»¹⁹. Хочу обратить внимание на следующее словосочетание, которое сделано здесь без нажима: «место» (*un lieu*) и некая секретная, или тайная, «активность»; Пруст, поскольку он пользуется в данном случае метафорой, говорит «химическая и дыхательная активность», но мы отделим слова и возьмем «активность» и «место».

Теперь возвратимся к тому, что мы говорили о жизни, и к тому, что я в прошлый раз говорил об органе. Как мы знаем, биологам почти невозможно определить, что такое жизнь. В итоге они чаще всего дают интуитивное определение, которое, кстати, совпадает с тем, которое, вовсе не желая дать определение, дает Пруст: подразумевается некая особая, специфическая активность каких-то вещей, которая имеется в некоем месте, называемом органом, а вне его не имеет места, хотя вне этого органа могут быть те же вещи. Повторяю: есть особая активность, которую проявляют какие-то элементы в месте, называемом органом, и эти же элементы вне его этой активности не проявляют. В первом случае это называется жизнью, а место называется органом, а во втором случае — нет.

То, что я называл сознанием, есть место, в котором существует некоторая активность. Этой активности вне этого места нет. Скажем, есть вне этого места слова, и если они вне этого места, это только слова. Весь роман Пруста есть опыт особого рода — опыт сознания, опыт совершенно особой активности. Тут слова звучат тоже очень двусмысленно. Вот мы говорим: опыт сознания, но здесь неясно, что я хочу сказать, по той простой причине, что у нас есть, скажем, опыт любви, опыт ненависти, опыт общества,

¹⁹ III (T.R.) — р. 899 (6:OB:219) — ...поскольку эта жизнь, память о ее печалях, радостях приняла бы форму хранилища, подобного белку [*une réserve pareille à cet albumen*], что находится в завязи растений и из которого она черпает питательные вещества, чтобы превратиться в семя,

тогда, когда и неизвестно еще, что существует уже и развивается эмбрион растения, это хранилище, в котором протекают химические процессы, тайные, невидимые глазу, но чрезвычайно активные [*le lieu de phénomènes chimiques et respiratoires secrets mais très actifs*].

опыт войны и так далее, и во всем этом присутствует сознание, а я имею в виду в данном случае опыт сознания, где сознание есть нечто совершенно отдельное. Это не осознаваемые содержания и предметы (мы ведь все осознаем сознанием; мы осознаем войну, любовь, ненависть, желания и так далее), а особое и отдельное явление сознания, и мы можем его, в свою очередь, испытывать как отдельное. (Не огорчайтесь, если с ходу это не уловили...) (...)

Напомнив этой неожиданной биологической цитатой то, что я говорил в прошлый раз, продолжу теперь мысль. Мы говорили, что есть некая точка — я называл ее сингулярной, — у которой есть свои, очень странные, законы. Фактически, найдя для нее новое слово, а именно «место», и поместив в это место особую активность, имеющуюся только в ней, мы можем сказать, что в эту точку или в это место ничего не входит и оттуда ничего не выходит — странная такая точка, или место, нашего сознания. Значит, сознание есть то, что совпадает с нашей жизнью (в чем мы чувствуем себя живыми), туда ничто не входит, и оттуда ничего не выходит. Не входит, потому что мы ведь знаем, что знание туда передать нельзя, потому что сознание имеет дело с тем, чего вообще знать нельзя. Ну разве можно Сен-Лу знать, какова Рашель, и можно ли ему передать знание о том, какова она? — мы уже знаем, что этого нельзя сделать.

Что мы узнали, узнав, что этого сделать нельзя? Мы узнали, что наше мышление, или мысль (опять же, мышление имеет смысл логического мышления; тогда я буду употреблять слово «мысль», чтобы у нас не было классификации, потому что мы находимся в области, как сказали бы буддисты, полной неклассифицируемости), то есть то, с чем мы имеем дело, мы не можем назвать ни мыслью, ни чувством, ни волей, ни инстинктом, ни интуицией — это неклассифицируемо. Я назвал это только что мыслью, но это не есть мышление в смысле наших классификаций. К тому же учтите, что все классификации — только *наши* классификации, то есть наши категории, но с нами происходит всегда что-то, что весьма причудливо и искаженно отражается в наших же категориях, в том числе в категории мышления, чувства, сознания и так далее.

Возвращаясь к тому, что сознание или мысль не построены так, как, мы предполагаем, построено мышление, когда мы можем указать на какие-то факты, назвать их, построить их определенным образом в логических связях, передать другому, который может эти связи проследить, восстановить в своей голове, и в его голову перейдет это знание. Явно, что этим путем Сен-Лу ничего не может узнать о Рашель, а некое абстрактное существующее знание о ней не может быть в точке, в которой находится Сен-Лу, имеющий сознание (или активность) в своем органе восприятия, потому что передать это туда нельзя и выйти оттуда тоже ничего не может.

Ясно почему. Я новыми словами назвал то, что перед этим называл другими; я говорил: сознанию нет эквивалента во внешнем, оно уникально, ясно и отлично от всего, отлично от слов. (Нам, чтобы что-то сказать, нужны слова, а именно от слов оно отлично.) Следовательно, мы не можем воспользоваться словами; и выйти наружу в словах это не может (не может оттуда поступить) — очень странное место... Тот опыт сознания, о котором я говорил и с которым столкнулся Пруст, есть опыт этого факта, или такого места, в которое ничто не может войти и из которого ничто не может выйти. С этим местом как бы в виде двойной звезды всегда у Пруста совмещено то, что он называет впечатлением. Впечатление у Пруста — всегда особая категория; это не то, что — вот я вижу стол и у меня какое-то от него впечатление; нет, это особая категория, скажем так, ударов по нашей чувствительности, которые обладают свойством приводить нашу чувствительность в некоторое неустойчивое противостояние, которое мы должны разрешить ценой (или риском) нашей собственной жизни, или судьбы. И впечатление всегда есть нечто, совмещенное с той точкой или местом, в которое ничто не входит и из которого ничего не выходит. Впечатление как бы висит, как звезда. Двойная звезда: одна звезда — место, а ее двойник, или вторая половина, — впечатление. В какую сторону ты в этом месте пойдешь — в той стороне образуется тот или иной мир, радикально отличный от других. Поясню это простым примером.

Есть такой пассаж в романе: около отеля (в смысле *l'hôtel particulier*, по нашим понятиям — особняк) стоят посыльные и слуги, беседуя о чем-то, а мимо проходит очаровательнейшая из очаровательных женщин, герцогиня Германт. Она очень долго и помногу занимала воображение героя романа, то именем своим (Германт — это самое аристократическое имя во Франции, целая феодальная страна, скрывающаяся в звучании этого имени), а то и как женщина: какое-то время герой романа был влюблен в герцогиню. Эта очаровательная женщина проходит мимо посыльных и слуг, и вдруг один из них говорит другим: «Посмотри на эту ломаку, что за вид, и к тому же ей, наверно, лет семьдесят»²⁰. А ей было максимум тридцать лет, но они видели *так*. Повторяю, что мы имеем дело с местами, а не с психическими свойствами, и должны блокировать в себе нашу неминуемую склонность приписывать те или иные проявления человеческим свойствам (глупости или уму), то есть в данном случае сказать, что посыльные

²⁰ III (Pr.) — р. 191 (4:Пл:220) — Свидетельство чувств — это тоже мыслительная работа, в результате которой убежденность рождает очевидности. (...) Для меня племянница герцогини Германтской — олицетворение

красоты, благородства и юности. Вдруг, слышу, швейцар в ресторане, где я иногда бывал, говорит кому-то на ходу: «Посмотри на эту старую хрычовку, ну и красotka! Ей, по малой мере, восемьдесят».

не видят по глупости. Нет, мы имеем дело (скажу условно, не придавайте этому большого ученого значения) с топологией, а не с умом или глупостью. Я не случайно говорю «место», так как они находятся в месте. В каком месте? — вот, что интересно.

Добавлю еще один пояснительный материал. Далее после этого пассажа идет интересное рассуждение Пруста, он говорит о том, как различны миры, частично поясняя, что ведь они видели герцогиню так, потому что ей в их глазах не предшествовало облако желаний, а желание, по законам нашей человеческой природы, всегда равнозначно тайне; следовательно, ей не предшествовало облако тайны. И, говорит Пруст, есть не один, или два, или три мира, а миров столько, сколько каждое утро просыпается умов и глаз²¹. Об этом Пруст пишет примерно на трехтысячной странице романа. (Я, наверно, испугал вас этой цифрой... в романе три тысячи с чем-то страниц.) А первая страница романа начинается с просыпания, и это очень существенно, так как весь наш опыт сознания моделирован опытом просыпания.

Очень интересная модель; я ведь сказал: совсем не само собой разумеется, что в следующий момент времени воспроизведется живое. Скажем, в момент A нечто живо, и мы предполагаем, что в момент A^1 оно продолжает жить. Философ утверждает (и Пруст, проделавший опыт сознания), что нет, не само собой разумеется, что в момент A^1 A живет уже в виде A^1 . Второй момент есть момент просыпания. И Пруст смоделировал это очень простым, очень таким ненавязчивым способом... Я говорю на квазиученом языке, но это по бедности, а Пруст — богатый художник и сделал это гораздо проще и изящней. Но что вскрывает изящность? — я сразу это поясню и поставлю точку на проблеме.

Вот просыпается человек. Какие, спрашивает Пруст, есть основания для того, что просыпаюсь именно я?²² То есть какие есть осно-

²¹ III (*Pr.*) — p. 191 (4:Пл:221) — Они ржали, когда им говорили, что она изящнее одной из кассирш отеля, изъеденной экземой, безобразной туши и тем не менее казавшейся им красавицей. Пожалуй, только половое влечение могло бы убедить их, что они ошибаются, если б оно выиграло при проходе мнимой старой хрычовки и если б посыльных вдруг потянуло к юной богине. Но по неизвестным причинам, по-видимому, социального порядка, влечение так и не выиграло. Тут есть над чем призадуматься. Все мы знаем, что вселенная существует, но у каждого из нас своя особая вселенная. Если бы ход рассказа не принуждал меня ограничиваться легкомысленными темами,

то сколько более серьезных позволили бы мне показать, какую фальшивую утонченность проявил я в начале этого тома, когда, лежа в кровати, слушал, как пробуждается мир при такой-то погоде, как — при такой-то! Да, я вынужден был утончать и быть лгуном, но это же не вселенная, это миллионы людей, почти столько же, сколько существует человеческих зрачков и умов, просыпающихся каждое утро.

²² II (*C.G.*) — p. 88 (2:Гер:86) — Такой сон называют свинцовым; когда просыпаешься, несколько минут тебе потом кажется, что ты и сам превратился в простую свинцовую куклу. Личности ты уже собой не представляешь. Но почему же в таком случае, ища свою

вания для того, что, проснувшись, я хватаю самого себя и это — я? Можно ли предположить саму собой разумеющуюся длительность, когда предмет A в момент A^1 есть тот же самый предмет A , если мы говорим о живом, или о сознающем? Какие есть основания для того, чтобы просыпающийся в момент A^1 проснулся бы в качестве A , именно в качестве того человека, каким он был перед этим? Какие есть для этого основания? Почему я не проснулся в качестве совсем другого человека? Когда мы не призадумываемся над этим, то нет проблемы, а стоит призадуматься, то возникает довольно большая проблема, и не из ее решения, конечно, а хотя бы из раздумывания над ней можно извлечь очень многое.

Конечно, чтобы, проснувшись, сказать: я — это я, я совершаю акт выбора, так ведь? Чтобы акт выбора совершился, нужен субъект, который совершает выбор. Но этот субъект выбора, то есть субъект, совершающий выбор, может быть только после того, как выбор совершился. Пруст так и пишет: «Когда мы выходим из сна, мы — никто. Как же тогда, ища свою мысль (*мы же должны найти свою мысль, чтобы ее продолжить, чтобы у нее была длительность; длительность, как выражается Пруст, часов, дней, месяцев, годов; он уже на первых страницах пишет, что просыпающийся держит в своих руках нити часов, дней, годов*), ища свою личность, так же как ищут потерянный объект (*выходя из сна, мы ищем себя, как ищут потерянный объект*), кончают тем, что находят свое «я» скорее, чем другое. Почему, когда мы снова начинаем мыслить, не другая личность воплощается в нас, а именно та наша, которая нам предшествовала? Я не вижу, что диктует этот выбор и почему из миллионов человеческих существ, которыми можно было бы быть, именно на того, кем я был перед этим, падает мой выбор»²³. Ну а дальше предлагаю интересную тему, которую пока не буду развивать: «...возрождение себя в момент просыпания после благотворного умственного отчуждения, каким является сон...» *Aliénation [mentale]* — это, скорее, не отчуждение, а сумасшествие. «...после благотворного временного сумасшествия, каким является сон, возрождение при пробуждении должно, по сути дела, быть похожим на то, что происходит тогда, когда мы находим забытое слово, забытое стихотворение, забытую мелодию, и, может быть, даже возрождение души после смерти можно представить как феномен памяти»²⁴.

мысль, свою индивидуальность, мы в конце концов находим наше «я» скорее, чем чье-либо другое? Отчего, когда мы вновь обретаем способность мыслить, в нас воплощается прежняя наша индивидуальность?

²³ II (С.Г.) — р. 88 (2:Гер:86) — Непонятно, от чего зависит выбор и почему из миллионов человеческих су-

ществ, которыми мы могли бы быть, жребий падает на то, кем мы были вчера. Что нами руководит, раз наступил самый настоящий перерыв (будь то крепкий сон, будь то сновидение, совершенно нам чуждое)?

²⁴ Ibid. — Воскресение от сна — после благотворного умопомешательства, какое представляет собою сон, —

Значит, мы моделируем ситуацию, когда есть какая-то работа в некоем месте, которое мы назвали сознанием, и в зависимости от этой работы мы перепедаем или туда, или сюда. Должны быть какие-то основания, почему именно сюда, например, в свое «Я-перед-этой-работой»; это не само собой разумеется. Более того, чтобы там что-то происходило (в той точке, о которой я говорил, что туда ничего не поступает и оттуда ничего не выходит), должно быть еще одно очень странное свойство этого места, или этой точки, так сказать, закон или правило ее пустоты, — она должна быть пуста.

Фактически ясно, что это место, или точка, о которой я говорю такими возвышенными словами, мешая топологию с биологией, с психологией и еще с чем-то, есть место нашей работы под знаком впечатления, или под знаком апостола Иоанна. Следовательно, это точка, в которую должен войти свет. У этого вхождения есть одно условие: чтобы свет вошел, там, куда он войдет, должна быть пустота, или темнота; там не должно быть света или полусвета. Посыльные, которые смотрели на герцогиню Германт и не видели ее, — они не видели ее в том числе (среди других причин) и потому, что между их взглядом и силуэтом герцогини Германт не лежала темнота, темнота желания (я назвал это тайной желания), темнота проблемы. Значит, чтобы в тебя вошел свет, ты должен очень сильно утемниться и ничего не знать, а мы всегда слишком много знаем перед темнотой. Короче говоря, наша точка — не только точка, куда не поступают знания, а еще и точка, в которой запрещено знать. Приведу другой пример (пластичный и ясный), который окончательно все поставит на свои места.

На фронте философского здания должна быть написана, или может быть написана (поскольку здание-то воображаемое и можно написать все что угодно), одна фраза: «Я *знаю*, что ничего не знаю»²⁵. Эта фраза не есть указание на невежество, на то, что мы — люди, то есть конечные существа, и нам не дано много знать и что сколько бы мы ни знали, мы всегда знаем мало. Нет, в этой фразе ударение стоит на первой части фразы: «Я *знаю*, что ничего не знаю». Знать, что ты не знаешь, очень трудно, почти невозможно; это очень большое и тяжелое достижение — знать, что ты не знаешь.

Разъяснение, которое я хотел дать: вспомним, Сен-Лу не мог увидеть Рашель, потому что его точка уже была заполнена светом или полусветом, там еще не было темноты, — он знал, то есть знал, что знает. Я говорил, что он проецировал высокое, то есть некоторые

по существу мало чем отличается от того, что происходит с нами, когда мы вспоминаем имя, стих, забытый напев. И, быть может, воскресение души после смерти есть не что иное, как проявление памяти.

²⁵ Это изречение Платон приписывает Сократу. См.: Платон. Апология Сократа // Платон. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 74.

заранее заданные представления о красивом, о прекрасном; они совместились со случайно увиденной в театре женщиной, кристаллизовались на ней, и расцепить ее, эту кристаллизацию, он не может.

Другой пример есть у Кьеркегора, датского религиозного мыслителя XIX века, провозвестника экзистенциализма, философского течения, возникшего уже в XX веке. У него есть очень интересное рассуждение. (Кьеркегор был большим экспериментатором над собой и над окружающими людьми, иногда очень холодным и рассудочным, но часто холодная истерика, в которой он всю жизнь находился, высекала тем не менее искры мыслей из жизни и из предметов, с которыми он сталкивался.) Он говорил: у кого больше шансов быть христианином — у того, кто крещен, или у того, кто не крещен? (По законам и протестантской, и католической религий есть так называемая конфирмация; где-то в возрасте, по-моему, четырнадцати лет, так сказать, по выбору конфирмуется совершившийся в детстве акт крещения. К акту конфирмации ребенок подходит уже крещеным.) Кьеркегор утверждает, что шансов быть действительно верующим больше у того, кто не крещен, чем у того, кто крещен, потому что у того, кто крещен, есть знание о том, что он верующий, то есть в голове существует нечто, что может быть живым, а может быть мертвым, то есть стереотипом, который, как мы убедились, от самой жизни неотличим, он отличим только изнутри. Мы ведь знаем, что из точки ничего не поступает наружу. Снаружи нельзя отличить живое от мертвого: например, в случае религиозной веры невозможно отличить, скажем, фразу, которую я говорю формально, от той, которую я говорю по истине. У крещеного есть сознание, что он-то верит, поскольку он выполняет внешние ритуалы, обряды религии; Кьеркегор добавляет, что почти нет шансов, чтобы он действительно стал христианином. Конечно — преувеличение, парадоксальная мысль, но — мысль.

Приведу другой пример для характеристики закона той точки, которую мы с разных сторон обрисовываем и все время должны связывать с образом просыпания. Просыпающийся — почему он модель нашей ситуации? — потому что просыпающийся-то не знает... Там, в этой точке, мы можем найти основание, почему он проснулся тем, кем проснулся. Понимаете — очень хорошая точка.

Лев Шестов, русский философ XX века, говорил (вернее, повторял известную истину; к сожалению, ее нечасто повторяют), что есть некоторые совершенно личные вещи, которые только лично можно иметь или пережить. Совершенно личной вещью является смерть: умереть можешь только ты сам, за тебя никто не может умереть, и ты за другого не можешь умереть — совершенно личный акт, абсолютно личный. Вторым личным актом является акт

понимания — это тоже абсолютно личный акт: можешь понять только ты сам, за тебя никто не сможет понять, что бы то ни было²⁶.

Вспомним древнейший миф, сократовский миф о мальчике-рабе, который из себя «рожает» теорему Пифагора²⁷. Когда Платон хочет доказать, что знание, в действительности, уже существует в душе и лишь вспоминается, наводящими вопросами он заставляет раба «рожать» из себя знание теоремы. Эта парабола, то есть метафора, иллюстрирует одну простую вещь, что даже знание математической теоремы, как бы ты ни суживал воронку [возможно только благодаря личному акту]. Представим себе, что передача знания совершается по причинной цепи: *A, B, C, D* связаны между собой причинно, и *D* (твоя голова) находится в цепи, и вот через *A, B, C* в твою голову должно перелиться знание; так вот, мир устроен так, что между последним звеном детерминированной цепи обучения и твоей головой — зазор, нет непрерывного перехода. Знание в твоей голове может вспыхнуть только как личный акт понимания — только ты можешь понять.

К тому, что говорил Шестов, я могу добавить третий совершенно личный акт: это тень (она может быть только своя), темнота. У каждого из нас своя тень. У Данте (кстати, в «Божественной комедии», фигурирует тень, хотя иначе, — там, где представлена целая галерея великих образов Духа; следы этого произведения, как я предупреждал, совершенно независимо от цитат обнаруживаются и в прустовской книге, тоже великой комедии Духа) это звучит так: *dans le grand cercle de l'ombre*²⁸, то есть в великом круге тени²⁹. Он имел в виду такой закон нашей <жизни>: очень большая тень должна быть в нашей душе — тень нашего непонимания, и только из нее может вырасти понимание. Только из нашего непонимания, только из нашей тени может выступить свет. Значит, тот свет, который идет в эту точку, требует, чтобы там не было предшествующего света, чтобы была проделана, как говорят философы, редукция, чтобы все, что

²⁶ «Постижь умом, общим для всех, можно общее, среднее. Глаза же полагаются иметь свои. Таков же смысл и приведенного в начале VII кн. «Государства» [Платона] образного разъяснения значения идей. Реальные вещи, те вещи, среди которых мы живем, — только бледные тени настоящих реальностей». — Шестов Л. Memento mori (По поводу теории познания Эдмунда Гуссерля) // Шестов Л.И. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1993. С. 224.

²⁷ Речь идет об эпизоде из диалога Платона «Менон», в котором Сократ показывает своему собеседнику Менону, что нигде не учившийся мальчик-раб может с помощью наводящих вопросов «вспомнить» теорему

Пифагора. См.: Платон. Менон // Платон. Указ. изд. С. 588–596.

²⁸ Цитируется французский перевод.

²⁹ На склоне дня в великом круге тени
Я очутился; побелели холмы,
Поникли и поблекли всюду травы.
Мое желанье не вернуло зелень,
Застыло в Пьетре, холодной, словно камень,
Что говорит и чувствует, как дама...

Данте Алигьери. Стихи о Каменной даме, 67 (Cl), 1–6 / Пер. с итал. И.Н. Голенищева-Кутузова // Данте Алигьери. Малые произведения. М.: Наука, 1968. С. 106.

было перед этим, было редуцировано, то есть какие-либо предположения, предпосылки, все, что *до*, — ничего этого не должно быть. Лишь после и в свете того света (прошу прощения за тавтологию), который идет, — лишь тогда что-то развернется.

Темнота складывается из риска, из вложения: надо очень сильно озаботиться, вложиться, пошевелиться в темноте, ничего не зная и ничего не предполагая известным. Тогда, если есть шанс что-то узнать, узнаешь. И прежде всего редуцируемое знание в этой темноте — знание о самом себе в смысле представления о своем «Я», то есть о тождестве с самим собой (*identity*). Я говорил о движущей силе Сен-Лу, о сращении с образом самого себя, то есть того, кого можно уважать, — это и есть самая страшная опасность. Это то, что Кьеркегор называл (уже в другом тексте) смертельной болезнью. Что это — смертельная болезнь? Знание, предварительное знание, в том числе мое уверенное знание о самом себе, каков я, что мне надо, на каких условиях и как я могу себя уважать и о том, каков должен быть мир, в котором я мог бы достойно жить, то есть в котором выполнялся бы мой образ, потому что мир должен функционировать так, чтобы в нем мог жить такой я, которого я мог бы уважать, — это смертельная болезнь, потому что здесь некоторое «Я» выступает как сам по себе действующий механизм.

Такой же смертельной болезнью (в отличие от того, что ты делаешь только сам — понимаешь или умираешь, — идя только из своей темноты, здесь ты полагаешься на то, что делается само собой или делается другими) может быть представление или знание о некоторых самодействующих социальных механизмах. Например, история, то есть механизм истории, — смертельная болезнь. Мы ведь полагаем, что есть некоторый самодвижущийся механизм истории, которым что-то делается: не мы делаем, а там делается, потому что рядом с нами работают другие, они вносят свой вклад, и вот где-то, в невидимой нами дали, вращается некий маховик, или колесо истории, почему-то, по какому-то предрасположению Бога, направленное в благоприятную для человека сторону. Хотя кто сказал, кто доказал, что такое колесо должно быть благоприятно человеку? Непонятно. Это колесо истории называется механизмом истории, прогрессом — я делаю какую-то частичку, а там все складывается, — много названий; тоже смертельная болезнь.

Но суммации нет. Мы только что убедились, что нет суммации знания. Ведь к тому, что видит Сен-Лу, нельзя присоединить знание Марселя. В науке мы привыкли, что, скажем, один ученый положил кирпичик, второй ученый — еще кирпичик, и есть кумуляция знаний, а здесь явно ее нет. Эти знания разделены. Значит, в нашей модельной ситуации, или в ситуации, которую моделируем, мы имеем дело с раздробленной материей, раздробленной

и дискретной, неоднородной материей, где невозможно взаимное сложение или взаимное прибавление.

Я говорю ученые, абстрактные слова, но предшествующие примеры дают мне право так говорить, а с другой стороны, мы теперь понимаем, что когда люди говорят такие абстрактные слова, то имеют в виду весьма конкретные и жизненные вещи; говоря о смертельной болезни, я в качестве примера приводил представления о социальных механизмах, ибо в социальном механизме предполагается, что и знаю, что устроено так, и могу на это положиться. А в личном, то есть в том, что растет из своей тени, из своего непонимания, — нельзя отложить на завтра (мы уже знаем этот закон).

Точка высвечена лучом святого апостола Иоанна, и отложить ее на завтра нельзя. Мир необратим, и то, что не извлечено сегодня, не будет извлечено завтра, более того, извлечь можешь только ты. Положиться на другого нельзя, потому что у него нет твоей темноты, а извлечь можно только из своей темноты, — у каждого темнота своя — значит, нельзя переложить на плечи другого. Я могу продолжить эту мысль, сказав о том, что есть вещи, за которые отвечаю только я и не могу это переложить на класс, на партию, на общество, на нацию. И, наоборот, то, что случится с нацией, будет интегралом того, что каждый из нас взял на себя; и случившееся уравнивается, то есть установится по уровню наших душ — по закону той точки, о которой я говорил, потому что эта точка — теперь я другое слово применю — есть точка уравнивания.

Пруст говорил так: кто бы ты ни был, принц или нищий, никто тебя не избавит от необходимости желать, страдать, любить и ненавидеть. Какая бы ни была цивилизация или, в случае войны, какие ни были бы технические средства, всегда есть точка, в которой «человек схватывается с человеком, и побеждает тот, чье сердце сильнее»³⁰. Есть точка, в которой никакие мои преимущества перед Альбертиной (Марсель богат, а Альбертина — бедна, он ее содержит), если действует упрямая воля Альбертины, не имеют никакого значения, все уравнено, — слово «воля» — это иносказание внутренней работы, то есть того, что выросло из внутренней темноты, в данном случае из темноты Альбертины. На войне (тогда не было атомной бомбы, Пруст приводил другие примеры, но я могу заменить их и говорить об атомной бомбе), что бы там ни было, какие бы ни были параферналии, есть точка, в которой человек схватывается с человеком, и побеждает тот, чье сердце сильнее.

³⁰ III (*Fug.*) — p. 504 — ...*le moment où l'homme se jette sur l'homme et où c'est le cœur le plus fort qui a le dessus.* (5:Бег:117) — ...так в современных войнах артиллерийская подготовка и изумительная дальнбойность

орудий только отдаляют мгновение, когда человек бросается на человека и когда побеждает человек, у которого сердце работает лучше.

Или можно продолжить иными словами: то, что будет в результате, будет по уровню, то есть большое будет по уровню. Скажем, то, что произошло в 1921 году, произошло по уровню наших душ — независимо от больших катастроф: как выросли, так и получилось. Большие катастрофы не сделали нас большими, — кстати, Пруст неоднократно будет повторять, что большие события не делают поэта, наблюдающего эти события, большим поэтом³¹. Почему это происходит? Да просто потому, что существует вот эта точка, условно назовем ее точкой равноденствия — еще одна характеристика нашего места, места сознания, или топоса. Поскольку я говорил, что все пронизано образами Данте, скажу, что у него есть очень хорошее словосочетание для этой пустой точки. (Представим себе пустую точку, но напряженную. Она ведь напряжена — ничто не входит, и ничто не выходит, но там есть сознание, интенсивность сознания.) В «Божественной комедии» описывается воображаемое путешествие, и есть некая точка поворота, когда Данте и Вергилий снова возвращаются к поверхности земли, но так, что после возвращения над ними уже другое небо, и этот поворот совершается в точке равноденствия: «Мы повернулись в точке, где сошлось давление всех грузов»³¹. Представим себе стяжения всей земли, стяжения всего мира, которые сошлись в одну точку; это тяжелая, пустая точка мира, пустая, так как в ней не должно быть нашего предшествующего знания. От этой точки фактически и отсчитывается то, что я назвал воспитанием чувств — воспитание чувств это то, как мы вырастаем, как мы становимся взрослыми, то есть способными держать мир, в смысле не быть инфантильными: видеть мир, который по отношению к нам не имеет намерений, и видеть прежде всего то, что из нас вырастает.

Так вот, эта точка — пустота и так далее — характеризуется у Пруста еще одним словом, и это важно для темы выращивания, темы антиинфантилизма; это — точка неизвестного, или *Другого*. Пруст был глубоко убежден, что художник есть в любом человеке — не в том смысле, что каждый человек может рисовать и так далее, а в смысле внутренней работы, которая нам необходима в жизни, и каждый человек ее прodelывает, если живет, а живут, конечно, не все... (...)

³¹ II (S.G.) — p. 756 (3:CF:186) — ...живой образ для нас не существует, пока его не воссоздаст наша мысль (иначе все участники грандиозной битвы были бы великими эпическими поэтами)...

III (T.R.) — p. 918–919 (6:OB:239–240) — ...великие события никак не способны повлиять на наши мыслительные способности, и посредственный писатель, доведись

ему жить в эпическую эпоху, так и останется писателем посредственным (...) и героическая война не способна из бездарности сделать вдохновенного поэта.

³² Но я в той точке сделал поворот,

Где гнет всех грузов отовсюду слился.

Данте Алигьери. Ад, XXXIV, 110–111 // *Данте Алигьери*. Божественная комедия. Указ. изд. С. 154.